
Александр ЛЕПЕЩЕНКО

КАК В ЖИВОМ РОМАНЕ

Рассказ

1

— На всей земле был один язык и одно наречие, — неторопливо и вдумчиво читал Платонов. — Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели расеемся по лицу всей земли...

Андрей Платонович уже много вечеров подряд перечитывал это место из Книги Бытия. Перечитывал с того момента, когда появилась гневная статья Авербаха об «Усомнившемся Макаре». Глава Российской ассоциации пролетарских писателей и зять кремлевского завхоза В. Д. Бонч-Бруевича Леопольд Леонидович Авербах — «эта дурно проветренная юность» — громил его, Платонова, рассказ, опубликованный в сентябрьском номере журнала «Октябрь». Поучал, что «наше время не терпит двусмысленности; к тому же рассказ вовсе не двусмысленно враждебен нам!».

Если это и не перечеркивало для Платонова весь 1929 год, то, во всяком случае, и не добавляло радости.

А предшествовало этому вот что. Главный советский читатель остался недоволен авторской трактовкой действительности. И секретариат правления РАПП, заслушав информацию товарища Кирсона о его разговоре с товарищем Сталиным, принял резолюцию, состоящую из двух пунктов: «а) констатировать ошибку, допущенную редакцией „Октябрь“ с напечатанием рассказа Андрея Платонова „Усомнившийся Макар“; б) предложить редакции принять меры к исправлению ошибки. Выступить в „На литературном посту“ с соответствующей статьей».

В общем, авербахнуло!

«Нам нужно величайшее напряжение всех сил, — делано неистовствовал теплохладный Леопольд Леонидович, — подобранность всех мускулов, суровая целеустрем-

Александр Анатольевич Лепещенко родился в 1977 году. Окончил факультет журналистики Волгоградского государственного университета. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, заместитель генерального директора издательства «Учитель». Публиковался в литературных журналах «Московский вестник», «Приокские зори», «Волга XXI век», «Отчий край», «Образ», «Камертон» и «Перископ». Автор книг рассказов и повестей «Монополия», «Сороковой день» и романа о Ф. М. Достоевском «Смешные люди». Лауреат премии имени Виктора Канунникова (2008), лауреат Международного литературного форума «Золотой витязь» (2016 и 2018), лауреат Южноуральской международной литературной премии (2017), победитель Международного конкурса короткого рассказа «На пути к гармонии» (2018) и «В лабиринте метаморфоз» (2019), дипломант литературного конкурса маринистики имени Константина Бадигина (2019). Живет в Волгограде.

ленность... А нас хотят разжалобить! А к нам приходят с проповедью гуманизма! Как будто есть на свете что-либо более истинно человеческое, чем классовая ненависть пролетариата...»

Платонов аккуратно вырезал антимакаровскую статью и положил в архив, «для сведения». И вдруг поднялся осадок в памяти: «Он знал, что знают немногие, и был пригоден на все...»

— Как Авербах... Э-э, и он теперь сопричислен...

Андрей Платонович еще раз перечитал в Книге Бытия то место о строительстве Вавилонской башни, которое его так занимало и мучило все последнее время, и приступил к работе над «Котлованом».

2

«В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабости в нем и задумчивости среди общего темпа труда.

Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст...»

— Понять свое будущее... — Платонов, вздрогнув, отодвинулся от рукописи.

В черновиках Вощев звался Климентовым, настоящей фамилией писателя, взявшего себе псевдоним из любви к отцу и истине. Как и Вощеву, Андрею Платоновичу тоже исполнилось тридцать. И он тоже, как и его герой, «почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться».

Некогда и Платонов принял революцию с радостью, участвовал в Гражданской войне, был членом РКП(б). Но теперь, по прошествии переобремененных насилиям лет, он и впрямь почувствовал сомнение. Крючок засел в его теле.

Тогда его Вощев и пошел искать смысл, и оказался в артели землекопов, начавших рыть котлован для общепролетарского дома. И те задумчивость и немощное положение его заметили:

«— Ты зачем здесь ходишь и существуешь? — спросил один, у которого от измождения слабо росла борода.

— Я здесь не существую, — произнес Вощев, стыдясь, что много людей чувствуют сейчас его одного. — Я только думаю здесь.

— А ради чего же ты думаешь, себя мучаешь?

— У меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу, я задумывался на производстве, и меня сократили...

Все мастеровые молчали против Вощева: их лица были равнодушны и скучны, редкая, заранее утомленная мысль освещала их терпеливые глаза.

— Что же твоя истина! — сказал тот, кто говорил прежде. — Ты же не работаешь, ты не переживаешь вещества существования, откуда же ты вспомнишь мысль!

— А зачем тебе истина? — спросил другой человек, разомкнув спекшиеся от безмолвия уста. — Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко.

— Вы уж, наверное, все знаете? — с робостью слабой надежды спросил их Вощев.

— А как же иначе? Мы же всем организациям существование даем! — ответил низкий человек из своего высушенного рта, около которого от измождения слабо росла борода».

Платонов облизал сухие узкие губы и проговорил, словно напоминая самому себе:

— Проект общепролетарского дома придумал не старый, но седой от счета природы человек...

Андрей Платонович с воодушевлением начал помещать этого человека, этого инженера Прушевского, как он его назвал, среди пустыря, у котлована. Вблизи шевелившихся равномерно, без резкой силы, мастеровых.

«Вот он выдумал, — отдавал бумаге слова Платонов, — единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение статической механики в смысле искусства и целесообразности следует поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда будет тело у юности и от какой волнующей силы начнет биться сердце и думать ум?»

Еще Чернышевский в «Что делать?» говорил о таком доме. А у Луначарского Андрей Платонович и вовсе прочел: «Но бунт идет своей дорогой. Каиниты служат Люциферу. Это их потомки начнут строить вечную башню культуры в великом Всеграде людском... главное, соединить все человечество воедино, тогда рай будет отнят назад, и небо будет взято штурмом...»

Ночь подстерегала Платонова, словно врага.

Но прежде чем принять меры — закончить работу, — Андрей Платонович снова обратился к Книге Бытия. Читал устало, тяжело, тихо:

— И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык... И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого...

«И ведь никто уже не понимает, — заходило вдруг сердце у Платонова, — да, никто никого...»

3

«Два дня назад я пережил большой ужас. Проснувшись ночью (у меня неудобная жесткая кровать) — ночь слабо светилась поздней луной, — я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, самого себя. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тоже я, и, полуулыбаясь, быстро писал. Причем то я, которое писало, ни разу не подняло головы, и я не увидел у него своих слез. Когда я хотел вскочить или крикнуть, то ничего во мне не послушалось. Я перевел глаза в окно, но увидел там обычное смутное ночное небо. Глянув на прежнее место, себя я там не заметил. В первый раз я посмотрел на себя живого — с неясной и двусмысленной улыбкой, в бесцветном ночном сумраке. До сих пор я не могу отделаться от этого видения и жуткое предчувствие не оставляет меня. Есть много поразительного на свете. Но это — больше всякого чуда... Мне кажется, что с той ночи, когда я увидел себя, что-то должно измениться. Главное — это не сон...»

Письмо это, отправленное жене Марии из Тамбова в 1926-м, он помнил и теперь. Слово в слово. В тот год, впрочем, он отправил ей много писем. А недавно они попались ему на глаза: Мария Александровна держала письма в чемодане, а чемодан вдруг понадобился Платонову. Достал. Перечитал. И снова — безотрадность, тоска, одиночество.

«Обстановка для работ кошмарная. Склоки и интриги страшные. Я увидел совершенно неслыханные вещи... Мелиоративный штат распушен, есть форменные крети-

ны и доносчики. Хорошие специалисты беспомощны и задерганы. От меня ждут чудес... Возможно, что меня слопают и выгонят из Тамбова... Меня ненавидят все, даже старшие инженеры... Ожидаю или доноса на себя или кирпича на улице».

Другое письмо было не лучше.

«Когда мне стало дурно, я без слова уехал, чтобы давать хлеб семье. А когда мне станет лучше, тогда, быть может, я не оценю ничьих дружеских отношений. Все эти Молотовы, даже Божко и все другие позволяют мне быть знакомыми с ними потому, что „боятся“ во мне способного человека, который, возможно, что-нибудь выкинет однажды и тогда припомнит им! Никто меня не ценит, как человека, безотносительно к мозговым качествам. Когда я падаю, все сожалеют, улыбаясь.

Ты скажешь — я зол! Конечно, милая, зол. Кто же мне примером обучал доброму. Что я вижу? Одиночество (абсолютное сейчас), зверскую работу (6-й день идет совещание, от которого у меня лихорадка), нужду и твои, прости, странные письма (служба у Волкова, Келлер и др.). Пусть любая гадина побудет в моей шкуре — тогда иное запоет. Пусть я только оправлюсь, и тогда никому не прощу! Каждый живет в свое удовольствие, почему же я живу в свое несчастье! Ведь я здоров, работаю, как бык, могу организовать сложнейшие предприятия и проч.

Еще раз — прости за это письмо, но меня доконала судьба... Единственная надежда у меня — создать что-нибудь крупное (литература, техника, философия — все равно из какой области), чтобы ко мне в Тамбов приехали мои „друзья“ и предложили помощь».

Но ни друзья, ни растовариши не приехали и помощи не предложили.

Если от кого он ее и получил, так это только от своей музыки.

«В час ночи под Новый год я кончил „Эфирный тракт“, а потом заплакал... Опять придется лечь на свою „музу“: она одна мне еще не изменяет. Полтора страница насильно я в „Эфирном тракте“... Я такую пропасть пишу, что у меня сейчас трясется рука... Каждый день я долго сижу и работаю, чтобы сразу свалиться и уснуть...»

С каждым прочитанным письмом к Платонову подступали все более горестные воспоминания.

«Вот когда я оставлен наедине с своей собственной душой и старыми мучительными мыслями. Но я знаю, что все, что есть хорошего и бесценного (литература, любовь и искренняя идея), все это вырастает на основании страдания и одиночества. Поэтому я не ропщу на свою комнату — тюремную камеру — и на душевную безотрадность... Жизнь тяжелее, чем можно выдумать... Скитаясь по захолустьям, я увидел такие грустные вещи, что не верил, что где-то существует роскошная Москва, искусство и пр. Но мне кажется — настоящее искусство, настоящая мысль только и могут рождаться в таком захолустье, а не в блестящей, но поверхностной Москве».

Строки рвали.

Особенно эти — обращенные еще и к четырехлетнему сыну:

«Оба вы слишком незащитны и молоды, чтобы жить отдельно от меня... Оба вы беспокойны и еще растете — вас легко изуродовать и обидеть».

Строки загрызали.

Вспомнилось, как он не мог должным образом обеспечить тогда Машу и маленького Платона, хотя все зарабатываемое отсылал им в Москву. Сам же снимал дешевую и холодную комнату.

«Похоже, что я перехожу в детские условия своей жизни: Ямская слобода, бедность, захолустье, керосиновая лампа».

И вдруг полоснуло, как ножом:

«Я был очень растревожен твоими выпадами и открытой ненавистью ко мне. Ты знаешь, что дурным обращением даже самого крепкого человека можно довести до сумасшествия».

И оглушило, будто палкой:

«Я тебя никогда не обманывал и не обману, пока жив, потому что любовь есть тоже совесть и она не позволит даже думать об измене... Твои намеки и открытое возмущение бьют мимо цели, т. к. я совершенно одинок и не соответствую твоей оценке. Пока я твой муж, по отношению к тебе я не подлая душа и не гаденькая личность. Работа меня иссасывает всего. А быть физически (хотя бы так!) счастливым я могу только с тобой. Я себе не представляю жизни с другой женщиной. Прожив с тобой всю молодость, наслаждаясь с тобой годами — я переделался весь для тебя».

Платонов не мог оторваться от этих своих прошлых писем.

Хотя и тискали душу судороги, а он все читал: «...во мне ты разочаровалась и ищешь иного спутника, но наученная горьким опытом, стала очень осторожна; в Москве, по этому, тебе жить выгодней одной, чем в провинции со мной (твоим мужем)».

Андрей Платонович терзался от душевной неполновесности, но читал: «Когда я тебе перевел телеграфом 50 р., то ты, не спросив меня (я тебе почтой потом послал еще 40 р.), сразу заявила — „я быстро найду себе друга и защитника“. А если бы я перевел тебе 500 р., ты бы, наверное, мне писала другое».

Лихорадка начала зажигаться в его крови:

«Я как-то долго представлял в воспоминаниях нашу первую встречу, наши первые дни. Помню, какая ты была нежная, доверчивая и ласковая со мной. Неужели это минуло безвозвратно?»

И тут Андрея Платоновича уже затрясло: «Я будто родившийся без судьбы...» Отерев пот со лба и кое-как уняв дрожь, он снова потянулся к чемодану с письмами:

«Но какая цена жене (или мужу), которая изменяет, ищет другого и забывает так быстро! Это дешево стоит. Но любим-то мы сердцем, а не мозгом. Мозг рассуждает, а сердце повелевает. И я ничего поделать не могу, и гипертрофия моей любви достигла чудовищности. Объективно это создает ценность человеку, а субъективно это канун самоубийства... Время нас разделяет, снег идет кучами. Милая, что ты делаешь сейчас? Неужели так и кончится все? Неужели человек — животное и моя антропоморфная выдумка одно безумие? Мне тяжело, как замурованному в стене... Ты могла бы быть счастливой и с другим, а я нет».

Злосчастный чемодан был в разы больше Платонова.

А сам Платонов, казалось, вот-вот усохнет и исчезнет.

И последнее письмо действительно дочитывал уже стушевавшийся, незаметный человек:

«Я не могу жить без семьи. Я мужчина и говорю об этом тебе мужественно и открыто. Мне необходима ты, иначе я не смогу писать.

Как хочешь это понимай. Можешь использовать это и мучить меня. Но следует договориться до конца».

— Договори... — здесь он себя обрезал.

Неужели «повязка мечты спала с глаз навсегда»?

4

Пожалуй, что и спала.

И многое открылось.

Мария Александровна порою не понимала и не принимала его сочинений.

«Если ты считаешь „Эфирный тракт“ — сумбуром — твое дело. Тут я ничего пояснить не хочу, — оправдывался Андрей Платонович уже после Тамбова. — Смешивать меня с моими сочинениями — явное помешательство. Истинного себя я еще никогда и никому не показывал, и едва ли когда покажу. Этому есть много серьезных причин, а главная — что я никому не нужен по-настоящему».

Особенно удручало — и это сейчас Платонов вновь вспомнил — недовольство Марии Александровны тем, что он посвятил ей «Епифанские шлюзы».

И как попытка защититься — последнее слово «обвиняемого»:

«По-моему, ты не имеешь права зачеркивать посвящения, написанные не тобой. Когда книга выйдет с посвящением, а ты им будешь возмущена, ты имеешь возможность и право выступить в ежедневной или журнальной прессе с заявлением, что ты отводишь от себя авторское посвящение, т. к. автор и его сочинения для тебя крайне неприятны, подлы, лицемерны и пр. — в таком духе. Это ты можешь делать и сделаешь, когда наступит твое время. А чужими желаниями распоряжаться нельзя и плевать на них не стоит».

— Тяжело мне, — вздохнул Платонов, — как в живом романе... Не могу же я писать иначе, чем чувствую и вижу. Но надо еще писать, что хочет мой класс, — этого действительно я пока не умею, а учат меня этому не добрым советом, а «за ухо».

«Чтобы жить в действительности, — ужалило вдруг Андрея Платоновича, — и терпеть ее, нужно все время представлять в голове что-нибудь выдуманное и недействительное».

...Выбраться из тамбовских окрестностей, из 1926 года, не получалось.

И относиться к людям по-отцовски тоже не получалось.

Отчаяние Платонова, как он сам признавался, имело прочные, а не временные причины.

«Здесь дошло до того, что мне делают прямые угрозы... Правда на моей стороне, но я один, а моих противников — легион, и все они меж собой кумовья... Здесь просто опасно служить. Воспользуются каким-нибудь случайным техническим промахом и поведут против меня такую компанию, что погубят меня. Просто задавят грубым количеством...»

Авербах снова обвинил бы его в двусмысленности, услышь такое:

«...я бился как окровавленный кулак и, измучившись, уехал, предпочитая быть безработным в Москве, чем провалиться в Тамбове на работах и смазать свою репутацию работника, с таким трудом нажитую... Я снова остался в Москве без работы и почти без надежды... Это палачи. Я сам уйду из союза... Они привыкли раздумывать о великих массах, но когда к ним приходит конкретный живой член этой массы, они его считают за пылинку, которую легко и не жалко погубить. Неужели нигде нет защиты?»

— Отчасти в этом повинна страсть к размышлению и писательству, — проговорил, разделяя слова, Платонов. — И я спую и не знаю, что мне делать, хотя делать кое-что умею... Я построил восемьсот плотин и три электростанции... И еще много работ по осушению, орошению... Но только в Воронеже, а не в этом треклятом Тамбове...

«Многих воронежских, говорят, арестовали... Да, моих бывших подчиненных: инженеров, техников... Этих бедных людей...»

— Народ весь бедный и родной. Почему чем беднее, тем добрее... Ведь это же надо кончать — приводить наоборот. Как радость от доброго, если он бедный?

«Что же будет, а? Настанет время, когда за элементарную ныне порядочность, за простейшую грошовую доброту, — люди будут объявляться величайшими сердцами, гениями... Настолько можно пробюрократить, закомбинировать, зажульничать, замушкетировать обыденную жизнь...»

И тут что-то с чем-то сцепилось, паровозным гудком будто бы отозвалось и наконец тронулось. Под столом у Андрея Платоновича темнела из ивовых прутьев большая бельевая корзина, в которую он, по обыкновению, бросал исписанные карандашом листы простой белой бумаги. Он вынул из корзины все относящееся к «Котловану», перечитал, тщательно выверяя каждое слово, и понял, что всех героев в повесть уже

препроводил и друг с другом познакомил. Задумчивого главного героя Вошева; безногого инвалида, урода империализма Жачева; погибающих от рук кулаков художника мастерового Козлова и артельного вождя ликбеза и просвещения Сафронова; сироту Настю, являющуюся таким талисманом артельщиков, но умирающую им на горе; председателя окрпрофсовета Пашкина; инженера и кадра культурной революции Прушевского; стареющего силача землекопа и вожака артельщиков Никиту Чиклина; попа, оставшегося без Бога; и даже волшебного медведя, старого пролетария, помогающего артельщикам. Недоставало лишь активиста. И он возник. Заявился в избу-читальню, где «стояли заранее организованные колхозные женщины и девушки».

«— Здравствуй, товарищ актив! — сказали они все сразу.

— Привет кадру! — ответил задумчиво активист и постоял в молчаливом созерцании. — А теперь мы повторим букву «а», слушайте мои сообщения и пишите...

Женщины прилегли к полу, потому что вся изба-читальня была порожняя, и стали писать кусками штукатурки на досках. Чиклин и Вошев тоже сели вниз, желая укрепить свое знание в азбуке.

— Какие слова начинаются на «а»? — спросил активист.

Одна счастливая девушка привстала на колени и ответила со всей быстротой и бодростью своего разума:

— Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист! Твердый знак везде нужен, а архилевому не надо!

— Правильно, Макаровна, — оценил активист. — Пишите систематично эти слова.

Женщины и девушки прилежно прилегли к полу и начали настойчиво рисовать буквы, пользуясь корябающей штукатуркой. Активист тем временем засмотрелся в окно, размышляя о каком-то дальнейшем пути или, может быть, томясь от своей одинокой сознательности.

— Зачем они твердый знак пишут? — сказал Вошев.

Активист оглянулся.

— Потому что из слов обозначаются линии и лозунги и твердый знак нам полезней мягкого. Это мягкий нужно отменить, а твердый нам неизбежен: он делает жесткость и четкость формулировок. Всем понятно?

— Всем, — сказали все.

— Пишите далее понятия на «б». Говори, Макаровна!

Макаровна приподнялась и с доверчивостью перед наукой заговорила:

— Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, браво-браво-ленинцы! Твердые знаки ставить на бугре и большевике и еще на конце колхоза, а там везде мягкие места!

— Бюрократизм забыла, — определил активист. — Ну, пишите...»

Платонов писал, пока его не разломала усталость. Потом собрал все листы, бросил их в бельевую корзину и погасил свет. Уже засыпая, подумал: «Я просто отдираю корки с сердца и разглядываю его, чтобы записать, как оно мучается...»

Из самой глубины ночи, а может быть и не из самой, прокричал паровоз.

И прокричал нехорошо...

5

«Лошади, — думал, пробудившись, Андрей Платонович, — и раньше снились в русской литературе... Раскольникову, например... А теперь вот и мне — законченной сценой...»

Он разложил на столе листы и, не съев свой скудный завтрак, состоявший из двух отварных картофелин, принялся записывать страшную сцену:

«Лошадь дремала в стойле, опустив навеки чуткую голову: один глаз у нее был слабо прикрыт, а на другой не хватило силы, и он остался глядеть в тьму. Сарай остыл без лошадиного дыханья, снег западал в него, ложился на голову кобылы и не таял. Хозяин потушил спичку, обнял лошадь за шею и стоял в своем сиротстве, нюхая по памяти пот кобылы, как на пахоте.

— Значит, ты умерла? Ну ничего, я тоже скоро помру, нам будет тихо.

Собака, не видя человека, вошла в сарай и понюхала заднюю ногу лошади. Потом она зарычала, впилась пастью в мясо и вырвала себе говядину. Оба глаза лошади забелели в темноте, она поглядела ими обоими и переступила ногами шаг вперед, не забыв еще от чувства боли жить.

— Может, ты в колхоз пойдешь? Ступай тогда, а я подожду, — сказал хозяин двора.

Он взял клочок сена из угла и поднес лошади ко рту. Глазные места у кобылы стали темными, она уже смежила последнее зрение, но еще чуюла запах травы, потому что ноздри ее шевельнулись и рот распался надвое, хотя жевать не мог. Жизнь ее уменьшалась все дальше, сумев дважды возвратиться на боль и еду. Затем ноздри ее уже не повелись от сена, и две новые собаки равнодушно отъедали ногу позади, но жизнь лошади еще была цела — она лишь беднела в дальней нищете, делилась все более мелко и не могла утомиться...»

Сейчас, когда Платонов прозревал невидимую остальным людям правду, он был похож на одного из своих персонажей. «Он походил на сельскую местность». И только глаза как у ровесника. То есть такие, какими бы на него смотрел молодой человек.

Андрей Платонович ощутил боль, точно это ему отъедали ногу собаки.

— Ненавидишь, отрицаешь человека, — погасил в себе крик писатель, — только издали, а потом, как увидишь его морщины, переменчивое выражение жизни, конкретность, так ничего не можешь, станет стыдно...

«Надо бы глянуть в рукописи, где у меня о Вощеве сказано... Может, и зря слова потратил...»

— А это здесь, — пробормотал Платонов, — вот тут...

Карандаш застыл над листом бумаги.

«Он догадывался, что его жизнь собралась из чувств к матери, отцу и дальнейшим людям, поэтому его мысли были одними воспоминаниями людей — он находился, словно озеро, питаемый каждым совместно живущим с ним человеком, как потоком, однако Вощев не почитал людей, его волновала лишь та середина мира, которая сама покоится внутри, но образует тревожную судьбу на поверхности земли, и он тоже хотел тревожиться, но с живыми, а не с мертвыми глазами и с чувством постоянного сознания истины. В уме же Вощева происходили лишь воспоминанья, ничего неизвестного не зарождалось в нем, и Вощев понял, что смысл жизни надо не выдумать, а вспомнить, — следует возвратиться к людям, забыться среди них, чтобы объяснить свою жизнь теми предметами, из которых она скопилась нечаянными чувствами к людям, которые уже исчезли в течение времени без вести в природе, но сохранились в тесном, внимательном теле Вощева, ощущающем только свои воспоминанья. А в детстве этот человек думал быть счастливым на всю жизнь, и мать ему так обещала».

— Нет, теперь вижу, что все... Все меланхолично... И меланхолия есть худший вид жадности, зависти, эгоизма...

Андрей Платонович приговорил мысленно лист и скомкал его.

— Так, это решено и подписано...

Карандаш был вскинут, как донкихотовское копьцо.

«Вощеву бы пожалеть себя и возвратиться в лоно разума... Но он все надеется, что хоть Прушевский укажет ему смысл природной жизни...»

— Зря только спросит, — помрачнел Платонов.

«— А вы не знаете, отчего устроился весь мир?»

Прушевский задержался вниманием на Вошеве: неужели они тоже будут интеллигенцией, неужели нас капитализм родил двоешками, — боже мой, какое у него уже теперь скучное лицо!

— Не знаю, — ответил Прушевский.

— А вы бы научились этому, раз вас старались учить.

— Нас учили каждого какой-нибудь мертвой части: я знаю глину, тяжесть веса и механику покоя, но плохо знаю машины и не знаю, почему бьется сердце в животном. Всего целого или что внутри — нам не объяснили...»

У Андрея Платоновича закружилась голова, и он навалился на стол, чтобы не упасть. Но потом выпрямился и тихо проговорил:

— А это словопрение с Прушевским, пожалуй, и оставлю...

«И вообще, надо оставить все и попродовольствовать... Как же там было?.. Э-э, самая лучшая приправа — это голод, и у бедняков его всегда вдоволь, оттого-то они и едят в охотку...»

Он взял с тарелки картофелину, посыпал солью и стал жевать.

Жевал медленно, сохраняя у самого рта собранную в горсть ладонь. Видимо, не хотел уронить даже малую часть еды.

6

От съеденного Андрей Платонович почувствовал подживание и устремил вдаль свои мечтательные глаза.

Вскоре он отключился от времени и стал прибавлять строки... о мастеровых.

«Мастеровые сели в ряд по длине стола, косарь, ведавший женским делом в бараке, нарезал хлеб и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по куску вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею. Хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели измождение...»

Платонов, словно опасаясь утратить звучащий в голове монолог, торопливо записывал.

— Еще этот простосердечный Санчо Панса, — вскинулся вдруг Андрей Платонович, — говорил, что не так было бы обидно, ежели б мы этот хлеб ели, потому с хлебом и горе не беда, а то ведь иной раз дня по два пробавляемся одним только перелетным ветром...

«Нет, нет, мещанин, а не герой вывезет историю...»

— Восемь лет назад я восторженно вопрошал, — Платонов устало смежил глаза, — что такое коммунисты? И объяснял так... Это лучшие люди, передовые борцы человечества. Люди, которые умеют любить больше дальнего человека, чем ближнего. Люди, которые любят себя больше в будущем человечества, чем себя в настоящем и, несмотря на их физическую зависимость от сегодня, умеют духовно всецело отдаться завтра... А еще я уверял и себя, и других, что не представляю, чтобы искренний коммунист, человек беспредельного будущего, связь с которым может быть осуществлена только через партию, мог с легким сердцем примириться с исключением из ее рядов, из рядов коллектива, который больше, чем какой-либо другой, носит в себе зачатки коммунистического человечества... Это не коммунист, а мещанин, индивидуалист... Теперь же, по прошествии этих восьми лет, я убежден... И убежден твердо... Только мещанин и вывезет историю...

«Почему я тогда вышел из партии? Из-за голода в Поволжье? Оттого, что большое слово не тронет голодного человека, а от вида хлеба он заплачет, как от музыки, от которой уже никогда не заплачет?..»

— С конца 1919-го по конец 1921-го, — точных дат не помню, — я был в партии большевиков, прошел чистку и вышел по своему заявлению, не поладив с ячейкой, вернее, с секретарем ее. В заявлении я указал, что не перестаю быть марксистом и коммунистом... Э-э, только не считаю нужным исполнять обязанности посещения собраний, где плохо комментируются статьи «Правды», ибо я сам их понимаю лучше... А еще считаю более нужной работу по действительному строительству элементов социализма, в виде электрификации, по организации новых форм общежития... Собрания же нужно превратить в искреннее, постоянное, рабочее и человеческое, общение людей, исповедующих один и тот же взгляд на жизнь, борьбу и работу...

Платонов замолчал.

Перестал находить слова из прошлого и обдумывать их.

Но потом из этого самозабвения он сам же себя и вывел.

— Социалист Сафронов, — усмехнулся Андрей Платонович, — боялся забыть про обязанность радости и отвечал всем и навсегда верховным голосом могущества: «У кого в штанах лежит билет партии, тому надо беспрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм труда». Вот так и запишем...

«Человек то верит в социализм, то нет. Он в доме отдыха: он верит, он в восторге, он пишет манифест радости... В поезде сломалась рессора, пассажиры набздели — он не верит, он ожесточается, и т. д. И так живет...»

Улыбка спостничала, Платонов взял карандаш и положил перед собой чистый лист бумаги.

А через сорок минут или через час лист был уже заполнен скачущими строчками.

«Чиклин, — рассказывал Андрей Платонович, — раскурил трубку от ближней свечи и увидел, что впереди на амвоне еще кто-то курит. Так и было — на ступени амвона сидел человек и курил. Чиклин подошел к нему.

— От товарища активиста пришли? — спросил курящий.

— А тебе что?

— Все равно я по трубке вижу.

— А ты кто?

— Я был поп, а теперь отмежевался от своей души и острижен под фокстрот. Ты погляди!

Поп снял шапку и показал Чиклину голову, обработанную, как на девушке.

— Ничего ведь?.. Да все равно мне не верят, говорят, я тайно верю и явный стервец для бедноты. Приходится стаж зарабатывать, чтоб в кружок безбожия приняли.

— Чем же ты его зарабатываешь, поганый такой? — спросил Чиклин.

Поп сложил горечь себе в сердце и охотно ответил:

— А я свечи народу продаю — ты видишь, вся зала горит! Средства же скопляются в кружку и идут активисту для трактора.

— Не брешь: где же тут богомольный народ?

— Народу тут быть не может, — сообщил поп. — Народ только свечку покупает и ставит ее Богу, как сироту, вместо своей молитвы, а сам сейчас же скрывается вон.

Чиклин яростно вздохнул и спросил еще:

— А отчего ж народ не крестится здесь, сволочь ты такая?

Поп встал перед ним на ноги для уважения, собираясь с точностью сообщить.

— Креститься, товарищ, не допускается: того я записываю скорописью в поминальный листок...

— Говори скорей и дальше! — указал Чиклин.

— А я не прекращаю своего слова, товарищ бригадный, только я темпом слаб, уж вы стерпите меня... А те листки с обозначением человека, осенившего себя рукодействующим крестом, либо склонившего свое тело пред небесной силой, либо совершившие-

го другой акт почитания подкулацких святителей, те листки я каждую полночь лично сопровождаю к товарищу активисту.

— Подойди ко мне вплоть, — сказал Чиклин.

Поп готовно опустил с порожек амвона.

— Зажмурься, паскудный.

Поп закрыл глаза и выразил на лице умильную любезность. Чиклин, не колебнувшись корпусом, сделал попу сознательный удар в скуло. Поп открыл глаза и снова зажмурил их, но упасть не мог, чтобы не давать Чиклину понятия о своем неподчинении.

— Хочешь жить? — спросил Чиклин.

— Мне, товарищ, жить бесполезно, — разумно ответил поп. — Я не чувствую больше прелести творения — я остался без Бога, а Бог без человека...»

Глаза у Платонова были уже не мечтательными, а пустыми.

— Но чу: кажется, я сказал на сегодня все, что мог сказать...

И тут будто гильотина упала:

«Бог есть великий неудачник. Удачник — тот, кто имеет в себе какой-либо резкий глубокий недостаток, несовершенство этого мира. В этом и жизнь. А если лишь совершенство, то зачем сюда ты, черт, явился?»

Андрей Платонович бросил заполненный лист в бельевую корзину, темневшую под столом. Потом подошел к окну — внизу неопределенным пятном мерцала чужая Москва...

7

Москва.

Она не приняла Платонова ни тогда, в год переезда, ни теперь.

Он же отлично хорошо помнил февраль 1926-го... Шел Всероссийский съезд мелиораторов... И его, воронежского мастера, неожиданно избрали в состав ЦК Союза сельского хозяйства и лесных работ. Пришлось Марию Александровну и Тошку срывать на житье в верховный город советской страны. Впрочем, повышение Андрея Платоновича было заслуженным. Перед отбытием из Воронежа ему выдали и соответствующий документ.

Это было...

«Удостоверение

Дано предьявителю сего Платонову Андрею Платоновичу в том, что он состоял на службе в Воронежском Губземуправлении в должности губернского мелиоратора (с 10 мая 1923 г. по 15 мая 1926 г.) и заведующего работами по электрификации с. х. (с 12 сентября 1923 г. по 15 мая 1926 г.). За это время под его непосредственным административно-техническим руководством исполнены в Воронежской губернии следующие работы: построено 763 пруда, из них 22 % с каменными и деревянными водосливами и деревянными водоспусками;

построено 315 шахтных колодцев (бетонных, каменных и деревянных);

построено 16 трубчатых колодцев; осушено 7600 десятин;

орошено (правильным орошением) 30 дес.; исполнены дорожные работы (мосты, шоссе, дамбы, грунтовые дороги) — и построено 3 сельские электрические силовые установки.

Кроме того, под руководством А. П. Платонова спроектирован и начат постройкой плавучий понтонный экскаватор для механизации регулировочно-осушительных работ.

Тов. Платоновым с 1 августа 1924 г. по 1 апреля 1926 г. проведена кампания общественно-мелиоративных работ в строительной и организационной частях, с объемом работ на сумму около 2 миллионов руб. Под непосредственным же его руководством проведена организация 240 мелиоративных товариществ и организационная подготов-

ка работ по мелиорации и сельскому огнестойкому строительству за счет правительственных ассигнаций и банковских ссуд на восстановление с. х. Воронежской губернии.

А. П. Платонов как общественник и организатор проявил себя с лучшей стороны.

Печать: Главное Управление Землеустройства и мелиорации г. Воронежа.

С подлинным верно: Секретарь Отдела Мелиорации (Н. Бавыкин)».

Спасибо, конечно, товарищу Бавыкину. Вот только дорога карьеры была длиною всего четыре недели.

Уже в июле Андрей Платонович был уволен из ЦК и откомандирован на работу в Наркомзем. Пришибленный, он написал тогда и такое же пришибленное письмо, которое, впрочем, не отправил.

«Прослужил я ровно 4 недели, — рассказывал о своем бедствии Платонов, — из них 2 просидел в Центр. штат. ком. РКИ, защищая штатные интересы своих интересов. Я только что начал присматриваться к работе своего профсоюза. Я был производственник, привык и любил строить, но меня заинтересовала профессиональная работа. Что я производственник, что я небольшой мастер профсоюзной дипломатии, было хорошо и задолго известно ЦК и записано в анкетах. Но меня все-таки сорвали из провинции и поставили на выучку.

А через 2 недели фактической работы в ЦК выгнали. А я занимал выборную должность... Я остался в чужой Москве — с семьей и без заработка. На мое место избрали на маленьком пленуме секции другого человека при полном отсутствии мелиораторов. Присутствовал один я!.. Это называется профсоюзной демократией!..

Чтобы я не подох с голоду, меня приняли в Наркомзем на должность инженера-гидротехника... Одновременно началась травля меня и моих домашних агентами ЦК Союза (я по-прежнему жил в Центральном Доме специалистов), меня и моих домашних людей называли ворами, нищими, голью перекатной... У меня заболел ребенок, я каждый день носил к китайской стене продавать свои ценнейшие специальные книги, без которых я не могу работать. Чтобы прокормить ребенка, я их продал. Меня начали гнать из комнаты. Заведующий Домом слал приказ за приказом, грозил милицией и сознательно не прописывал, чтобы иметь право выбросить с милицией в любой час. Я стал подумывать о самоубийстве...»

Московская жизнь зашатала, и он действительно говорил: «Сопьюсь, окоченею и выброшусь с четвертого или шестого (обязательно четного: иначе не умрешь) этажа. Это будет несомненно. Надо ждать удачного часа и копить в себе горе. Как хороши слова „вечная память“ и „навсегда уставшее сердце“».

Впрочем, и второе пришествие Платонова в Москву было не менее трагичным.

Разгром «Усомнившегося Макара» Авербахом, критика очерка «Че-Че-О», написанного в соавторстве с Борисом Пильняком, мытарства по чужим углам, голод, безденежье и семейные неурядицы совпали по времени с болезнью и смертью Марии Васильевны Климентовой — матери Андрея Платоновича. На похоронах он, совершенно растерзанный, плакал над ее гробом. А позднее, в посвященном ей рассказе «Третий сын», отозвался на произошедшее так: «Мать не вытерпела долго жить».

А сам он терпел, как мог. Перетягивал жилы.

«...Жили Платоновы тяжело, — вспоминала Валентина Александровна Трошкина, родная сестра Марии Александровны. — Так, иногда что-то перепадало за случайные публикации под псевдонимами. Одно время они снимали летнюю комнату на чердаке в Покровском-Стрешневе в каком-то стройтресте. Прожили там одно лето. У меня письма есть, где он писал, чтобы ему зимнюю комнату дали, но ему ничего не давали, везде игнорировали. И они решили поехать в Ленинград. К тому времени папа с мамой у нас разошлись, и отец у нас жил в Ленинграде, а Тошка очень любил деда и увязался с ним в Ленинград. Наскребли кое-какие деньги, папа помог чем мог и поехали. Но начались новые испытания: в Ленинграде сильно заболел Тоша, и его положили

в больницу. Он заболел корью, потом скарлатиной и дифтеритом, и это дало осложнение на ухо. Это время для них было ужасным. Подходила зима, а в Москве у них, кроме летнего чердака, ничего нет. И из Ленинграда не уедешь: Тошка болеет страшно. Ему нужно было делать операцию — трепанацию черепа, притом частным образом, а денег не было. У меня от Андрея и Маши много писем того периода. Сестра сорок дней лежала вместе с Тошей в палате. Писала, как при ней умирают дети и как Тоша умирает. Она уже не верила, что он выживет. Писала, что некому им помочь. Я думаю, многие просто боялись с ними общаться, ждали, что Андрея вот-вот заберут. В общем, Андрей и сестра были в отчаянии. Операцию Тоше все же сделали, но до конца жизни у него болело ухо. Когда вернулись из Ленинграда, жить было негде. И тут им помог Пильняк. Он уступил им комнату, и они немного в ней пожили, может, не больше месяца, — просто перебились».

Андрей Платонович, возможно, подивился бы точному и бесстрастному свидетельству агента ОГПУ, уже негласно присматривающему за ним:

«Платонов часто приходит в издательство, потому что у него нет ни гроша, а издательство ему должно давно уже изрядную сумму. Но денег сейчас не дают никому. Это очень ухудшило настроение Платонова. В последний раз он приходил сегодня — рассказал, что „Новый мир“ хочет опубликовать часть повести „Впрок“ и что это выручит его материально... Бытовые условия у Платонова очень трудные — нет комнаты, нет денег, износилась одежда».

«В Москве голодно, главное же нет денег, — подтверждал и М. А. Шолохов. — Народ продает вещи, так, как денег не платят. Андрей Платонов, по словам Васьки Кудашева, — продал книги, библиотеку, а в издательстве лежит 1500 р. Дела!»

...Платонов отшатнулся от окна, от Москвы, но не от себя.

Он был сейчас один, в чужой, съемной квартире. Мария Александровна и Тошка еще не вернулись от дальних знакомых людей, у которых живали временно. Он же, мучимый тоской по любимым своим, думал: «Я начал писать большую вещь... Этот разгон, наконец статья, которые владели мной, были настолько высоки и противоречивы, что помимо сознания „контрабандой“ проводились в рукопись ошибки, и только в результате бдительного наблюдения, беспощадного самоконтроля соответственно перерабатываешь рукопись снова и снова... Естественно, что мне нужно было прекратить этот поток произведений, выходящий из меня. Мне нужно было прекратить не только внешнее издание, важно было остановить это внутри себя...»

Андрей Платонович оглянулся — комната показалась ему странной:

— Раньше все вещи делались громоздко, стационарно: рояль, граммофонная труба, гардеробы... Теперь все в виде чемоданов, транспортабельно, мобильно, временно... Патефон-чемодан и так далее... Это — время. И даже женщины: раньше были жопы, теперь плюгавки...

Радио давно отрупорило.

Платонов долго смотрел на заунывную луну, светившую в окно. А когда заснул, то спал плохо, ворочался с боку на бок — все хотел остановить влезавший в ухо шум.

8

Проснулся Андрей Платонович досветла, сообразив, что сегодня воскресенье и по редакциям мыкаться с просьбами о деньгах не придется, угнездился за письменный стол. Включил электричество — разогнал уродливые тени по углам.

«После попытаюсь, да и нет, кажется, ничего остатного... Разве что сухари?»

Карандаш загулял по рукописи, сначала медленно, потом быстрее. Наконец добрался до инвалида Жачева, который «не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния ду-

ши... и кричал среди шума сознания, льющегося из рупора». И тогда одна фраза беспокойного калеки «Я и так знаю, что умна советская власть» была заменена другой: «Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..»

Но более Жачева в рукописи пострадал активист.

И хотя «каждую новую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны взрослых, центральных людей», но это ему не помогло. Однажды «дрогнуло ослабевшее сердце, и он заплакал на областную бумагу».

«По последним материалам, имеющимся в руке областного комитета, — значилось в конце директивы, — видно, например, что актив колхоза имени Генеральной Линии уже забежал в левацкое болото правого оппортунизма. Организатор местного коллектива спрашивает вышенаходящуюся организацию: есть ли что после колхоза и коммуны более высшее и более светлое, дабы немедленно двинуть туда местные бедняцко-середняцкие массы, неудержимо рвущиеся вдаль истории, на вершину всемирных невидимых времен. Этот товарищ просит ему прислать примерный устав такой организации, а заодно бланки, ручку с пером и два литра чернил. Он не понимает, насколько он тут спекулирует на искреннем, в основном здоровом, середняцком чувстве тяги в колхозы. Нельзя не согласиться, что такой товарищ есть вредитель партии, объективный враг пролетариата и должен быть немедленно изъят из руководства навсегда».

И быстрый на расправу Чиклин «изъял» активиста...

«— Ты зачем ребенка раскрыл? — спросил Чиклин. — Остудить хочешь?»

— Плешь с ним, с твоим ребенком! — сказал активист, Жачев поглядел на Чиклина и посоветовал ему:

— Возьми железку, какую из кузни принес!

— Что ты! — ответил Чиклин. — Я сроду не касался человека мертвым оружием: как же я тогда справедливость почувствую?

Далее Чиклин покойно дал активисту ручной удар в грудь, чтоб дети могли еще уповать, а не зябнуть. Внутри активиста раздался слабый треск костей, и весь человек свалился на пол; Чиклин же с удовлетворением посмотрел на него, будто только что принес необходимую пользу...»

Досталось мертвецу и от Вощева, выбравшегося вдруг из задумчивости:

«Ах, ты гад! — прошептал Вощев над этим безмолвным туловищем. — Так вот отчего я смысла не знал! Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил, сухая душа, а мы бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего!»

И Вощев ударил активиста в лоб — для прочности его гибели и для собственного сознательного счастья...»

Где-то ударялась о железо вода.

Платонов прислушивался, пытаясь понять, что его отвлекло от рукописи. «Кажется, это в раковине?» Он бросил карандаш на разложенные по столу листы бумаги и пошел на кухню. «Ну, точно, кран пропускает...» Андрей Платонович пустил воду сильнее, вымыл оставленную с вечера кружку и, заметив вазочку с сухарями, пыхнул:

— Appetit приехал — милости просим!

Нагрел чайник, наполнил кружку кипятком доверху. Макнул сухарь, пожевал. Но неожиданно кинулся с кухни вон. И напрямик к записной книжке. «Нашел, э-э...»

На странице — короткая фраза: «Отменено слово „мама“».

И Платонов снова склонился над рукописью:

«Хочу ее кости... — сказала Настя Чиклину. — Неси мне мамины кости, я хочу их».

И бригадир, убийственно хмурый, посветлел тут ликом и отправился выполнять просьбу самого дорогого для него человека, этого ребенка:

«...Чиклину долго пришлось отнимать камни от дверного входа, который он сам заваливал для сохранности покойной. Спичек у Чиклина не имелось, и он нашел женщину ошупью; сначала он коснулся ее волос, таких же свежих, как и при жизни, потом потрогал весь ее скелет до ступней, — она вся еще была цела, только самое тело исчезло и вся влага высохла. Унести скелет целиком было трудно, тем более что скрепляющие хрящи давно завяли; поэтому Чиклину пришлось разломать весь скелет на отдельные кости и сложить их, как в мешок, в свою рубашку. В рубашке, после помещения туда всех костей, еще осталось много места, — настолько женщина была мала после смерти.

Настя сильно обрадовалась материнским костям; она их по очереди прижимала к себе, целовала, вытирала тряпочкой и складывала в порядок на земляном полу».

Это были последние мгновения Настинной жизни, и почти никто их не заметил:

«Мимо барака проходили многие люди, но никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации.

Иногда вдруг наставала тишина, только слышно было, как Настя шевелила мертвые кости, но затем опять пели вдалеке сирены поездов, протяжно спускали пар свайные копры и кричали голоса ударных бригад, упершихся во что-то тяжелое, — кругом непрерывно нагнеталась общественная польза».

И пока происходило все это, девочка попросила Чиклина исполнить последнюю волю ее — положить поближе мамины мощи... «Я их обниму и начну спать». И — уснула, только «захолодала с чего-то». И сказал с горечью инвалид Жачев: «...я теперь ни во что не верю!»

«Вот и обесчледили артельные, — придавило Андрея Платоновича. — А ведь Настя, Анастасия, в переводе с греческого — воскресение. Будет ли оно? И будет ли коммунизм?.. Я, как и мой Вощев, уже не знаю, „где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатленьи? Зачем... теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движеньем?“ Эх, мертвые — тоже люди... Только особенные...»

В рукописи ничего в этот день больше не появилось, а только в записной книжке: «Если сравнить живых с умершими, то живые говно». И еще было записано такое: «Мертвецы в котловане — это семя будущего в отверстии земли».

9

Платонов сосредоточенно листал книгу и припоминал, что же сказал Великий инквизитор Христу. Наконец набрел на сказанное.

— На месте храма твоего воздвигнется новое здание, — принялся за чтение Платонов, — воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, — ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своею башней...

Андрей Платонович тяжело глотнул и продолжал:

— Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся... Ибо мы будем вновь гонимы и мучимы... Найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали». И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя твое, и солжем, что во имя твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажу нам: «лучше поработите нас, но накормите нас».

«По слову Великого инквизитора и соделалось,— мелькнуло вдруг. — Жизнь действительно „гиперболичнее любых гипербол“... Типичный же человек нового времени: это голый — без души и имущества, в предбаннике истории, готовый на все, но не на прошлое... А тут еще и Господь со своей свободой...»

— Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона, — свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою, — но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? — Платонову вдруг показалось, что это не Великий инквизитор спрашивает Христа, а сам он, Платонов, и спрашивает.

Неожиданно все побелело: письменный стол, окно и даже книга, которую он только что читал. Все заместил собою белый лист. Но уже вскоре Платонов перестал замечать и его.

«Чиклин, — записывал Андрей Платонович, — взял лом и новую лопату и медленно ушел на дальний край котлована. Там он снова начал разверзать неподвижную землю, потому что плакать не мог, и рыл, не в силах устать, до ночи и всю ночь, пока не услышал, как трескаются кости в его трудящемся туловище. Тогда он остановился и глянул кругом. Колхоз шел вслед за ним и не переставая рыл землю; все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована.

Лошади также не стояли — на них колхозники, сидя верхом, возили в руках бутовый камень, а медведь таскал этот камень пешком и разевал от натуги пасть.

Только один Жачев ни в чем не участвовал и смотрел на весь роющий труд взором прискорбия.

— Ты что сидишь, как служащий какой? — спросил его Чиклин, возвратившись в барак. — Взял бы хоть лопаты поточил!

— Не могу, Никит, я теперь ни во что не верю! — ответил Жачев в это утро второго дня.

— Почему, стервец?

— Ты же видишь, что я урод империализма, а коммунизм — это детское дело, за то я и Настю любил... Пойду сейчас на прощанье товарища Пашкина убью.

И Жачев уполз в город, более уже никогда не возвратившись на котлован.

В полдень Чиклин начал копать для Насти специальную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтоб она была глубока и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли. Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне и приготовил еще особую, в виде крышки, гранитную плиту, дабы на девочку не лег громадный вес могильного праха.

Отдохнув, Чиклин взял Настю на руки и бережно понес ее класть в камень и закапывать. Время было ночное, весь колхоз спал в бараке, и только молотобоец, почуввав движение, проснулся, и Чиклин дал ему прикоснуться к Насте на прощанье».

...Платонов сидел на подоконнике и вдыхал слабой грудью воздух блаженно-синей весны. Он словно хотел запомнить и этот воздух, и эту весну, и этот день, когда закончил свой «Котлован». А внизу, по мостовым гремящей Москвы ходили люди.

«Я знаю, что я один из самых ничтожных, — думал Андрей Платонович. — Но я знаю еще, чем ничтожней существо, тем оно больше радо жизни, потому что менее всего достойно ее. Вы люди законные и достойные, я человеком только хочу быть. Для вас быть человеком привычка, для меня — редкость и праздник...»